

Александр Сенкевич

ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ.  
ВНУТРЕННЯЯ ТИШИНА

*Если человек займется исследованием своего организма или морального состояния, то непременно признает себя больным.*

*Иоганн Вольфганг Гёте*

Жизнь и судьба Венедикта Васильевича Ерофеева обескураживает тех людей, кто отказывается признать приоритет силы духа над властью тела. Литературное наследие, что он оставил потомкам, подтверждает, что им успешно выполнена миссия творческого человека. Что это за миссия, четко и коротко сформулировал в отношении гения другого времени австрийский поэт, драматург и историк искусства Франц Грильпарцер, живший в XIX веке: «Моцарт дает связь с всеобщей жизнью дню сегодняшнему».

Не издававшийся долгое время на родине, Венедикт Ерофеев все-таки обрел широкую известность уже при жизни. В начале 70-х годов прошлого века его слава не только гремела, но и голосила на все голоса. В последнем случае не в переносном, а в буквальном смысле. Понятно, что голоса эти были исключительно вражьи. Как только поэма «Москва — Петушки» появилась сначала в «самиздате», а затем в Израиле, где была впервые издана в 1973 году в журнале «Ами», все вещающие на СССР радиостанции западных стран не обошли это событие вниманием. Недоумение, что в Советском Союзе живет писатель, не похожий на своих собратьев по перу ни образом жизни, ни характером творчества, вскоре сменилось желанием объяснить, как такая несообразность могла произойти при власти большевиков и не является ли это сочинение предчувствием ее естественного конца.

---

Полностью книга А. Сенкевича “Венедикт Ерофеев. Побег из сансары” выйдет в издательстве «Молодая гвардия» (серия «Жизнь замечательных людей») в 2019 году.

Публикация своих произведений на Западе считалась у инакомыслящих писателей в СССР важным событием. Не потому только, что засвеченные таким образом во вражеском капиталистическом мире, они надеялись на его защиту в случае репрессивных действий по отношению к ним со стороны государства. Действительно, с появлением их имен в западных СМИ возникал определенный шанс не сгинуть в безвестности в какой-нибудь Тмутаракани.

Однако я убежден, что более существенным был все же психологический фактор — признание их таланта западными коллегами. Ведь власти родной страны относились к пишущей инакомыслящей молодежи как к графоманам с манией величия.

Первое, что сделали зарубежные советологи — объявили Венедикта Ерофеева борцом с *антихристовым социализмом* и зачислили его в антисоветские писатели. Своей прямолинейностью они солидаризировались с экспертами по литературе, обслуживающими Пятое управление КГБ с его начальником Ф. Д. Бобковым, которое зорко приглядывало за творческой интеллигенцией. Будем снисходительны к поэтической глухоте этого генерала, уже в наше просвещенное время назвавшего Иосифа Бродского по старой привычке графоманом. Ведь в СМЕРШе, где начиналась его военная карьера, не учили отличать истинное поэтическое слово от «шершавого языка плаката».

Вместе с тем, доблестных чекистов, выступающих на ниве отечественной словесности в роли смотрящих, было бы несправедливо обвинять в преднамеренной лжи. Они знали, по крайней мере, одну из видимых причин интереса читателей к поэме «Москва — Петушки». Как вспоминает сын писателя Венедикт Венедиктович Ерофеев, первые читатели «искали в ней тень запрещенности». Другое дело, что чекисты, я думаю, просто растерялись и не знали, как им поступить в отношении странного молодого человека. К тому же сильно пьющего. Такой экзотический типаж среди творческой братии им еще не попадался. Он не был ни советским, ни антисоветским писателем. Скорее он напоминал кота, который гуляет сам по себе, из сказки Редьярда Киплинга. Кота особенного — ясно представляющего, куда занесла его судьба.

Венедикт Васильевич Ерофеев не был политически ангажированным писателем. В диссидентском движении участия не принимал, хотя с некоторыми диссидентами общался и даже дружил. Несмотря на неоднозначное отношение к диссидентам, он подписал в 1977 году

письмо в защиту Александра Гинзбурга, который был приговорен к восьми годам лишения свободы за участие в Хельсинкском движении в СССР. Это письмо с подписью писателя хранится в архиве «Мемориала». Как отмечает Елена Игнатова в своей книге «Обернувшись», Венедикт Ерофеев с интересом наблюдал и даже иногда посещал сходки диссидентов, в различной степени недовольных советской властью. Она достаточно подробно описывает одно из таких собраний середины 70-х годов. На нем оппозиционно настроенные молодые люди должны были составить открытое письмо о положении культуры в СССР. После чего они надеялись собрать под ним подписи видных, либерально настроенных писателей.

Важной мне представляется фраза Венедикта Ерофеева, высказанная в разговоре с Игнатовой: «Представляешь, вот они придут к власти и будут распоряжаться всем, кстати, и твоей судьбой тоже. Как тебе такой вариант?... вот такие новые большевики».

Итак, подытожим черты социально-политического портрета Венедикта Ерофеева. На Госдеп он не работал и на КГБ тоже. Ни в прямом, ни в переносном смысле. Вместе с тем, он был убежден, что народ и партия сливаются в одном чувстве взаимопомощи либо при природных катаклизмах и других бедствиях, либо при грозящей обоим опасности. То есть в том и другом случае — по необходимости. Таким образом, в повседневной жизни и в мирное время никакого душевного и естественного единства у них не получалось.

Мыслил и писал Венедикт Ерофеев вольно, всегда испытывал удовольствие, прикоснувшись пером или карандашом к бумаге. Ни на кого особенно из литературных авторитетов не «залипал», хотя некоторых из них все-таки выделял из общей писательской массы. Он выбирал себе приятелей, исходя не из политических или идеологических пристрастий, а по случаю и настроению. Для близких друзей у него существовал один критерий: они должны были соответствовать ему умом и порядочностью, а также по мере возможности избегать в разговоре с ним речевых штампов. Последнее условие, кстати, относилось исключительно к творческим людям.

Венедикт Ерофеев не обладал распространенной в писательской среде способностью рассуждать в духе идей своего собеседника. Такая манера разговора способствовала быстрому сближению и обрастанию приятелями. Он же любил сидеть в одиночестве на природе и о чем-то размышлять, наблюдая, как шелестит листва и перелетают с ветки на

ветку птицы. Сердился, когда кто-то ему мешал находиться в подобном своеобразном затворничестве.

Он воспринимал жизнь серьезно и с радостью. Для него жизнь не была «только привычкой» (если вспомнить строки Анна Ахматовой). Он купался в ней, как воробей в луже под музыку ветра. Жить в глубокой внутренней тишине, размышляя об этом божьем даре, — вот что доставляло ему настоящее удовольствие. Однако при его желании оставаться независимым человеком ему постоянно приходилось увертываться от насильственных действий власти. Он существовал на острие ножа и всякий раз делал свой выбор, исходя из сложившихся обстоятельств. Венедикт Ерофеев не искал беду на свою голову, как это делали некоторые из его друзей.

Его мечтой было заполучить какую-нибудь хибару в деревне и поселиться в ней надолго — до самого последнего часа. В деревенской глуши он был готов жить, чем бог послал. Питаться грибами, ягодами, кореньями. Хоть небесной манной. Не получилось.

Жизнь бросила Венедикта Ерофеева в вероломный мир страстей. Не буду ханжой, сказав, что, как ни парадоксально, он уже с детства с ужасом вглядывался в мир *сансары*, чуждый его натуре и взглядам. Для него *сансара* олицетворяла обыденную, сибаритскую и благополучную жизнь. У индусов и буддистов *сансара* — одно из центральных мировоззренческих понятий и сочетается с законом моральной причинности — *кармой*.

*Карма* воплощает личную ответственность человека по отношению к своему прошлому, настоящему и будущему. Известный индолог Виктор Лысенко уточняет в энциклопедии «Индийская философия» употребление слова *сансара* в широком смысле: «*Сансара* используется индийцами как синоним феноменального существования вообще — изменчивого, но в то же время бесконечно повторяющего одни и те же сюжеты, в более узком смысле — как обозначение окружающего мира, а точнее, индивидуального мира отдельного человека, сферы его субъективного опыта».

Тошно ему было смотреть на мир *сансары*, в котором одни люди выглядели самодовольными, расфуфыренными и высокомерными, а другие — опустошенными, одинокими и унылыми. Однако оказавшись в этом мире, Венедикт Ерофеев не сводил ни с кем счеты и не заходил так далеко, чтобы считать его недостойным своего присутствия. Бесы мщениа и гордыни им не владели. Своих сил на бессмыс-

ленную борьбу и полемику он не растрчивал. На амбразуру не лез. Был убежден, что Россия — страна в большей степени западная, чем восточная, как бы ее ни обряжали в кокошники, сарафаны и кафтаны. Понимал, что с дураками спорить — себе дороже. Да и полемизировать с некоторыми умниками, которые от слов оппонента впадали в состояние невменяемости, было ему не с руки. И уж определенно он не относился к тем людям, кого заемные идеи съедали настолько, что ничего своего в человеке не оставалось. Его внутренняя тишина не сообразовывалась с полемическим задором.

Вместе с тем аполитичным человеком Венедикт Ерофеев не был. Ведь его начавшаяся взрослая жизнь совпала с хрущевским временем оттепели. Именно оно вызвало брожение в умах советских людей. Нельзя было упрекнуть Венедикта Ерофеева и в двоемыслии, которым отличается большая часть российской творческой интеллигенции. Не в общеупотребительном смысле этого слова, а в том, как понимал такой склад ума Иосиф Бродский: «Говоря “Двоемыслие”, я имею в виду не знаменитый феномен “говорю одно-думаю-другое-и-наоборот”. Я также не имею в виду оруэлловскую характеристику. Я имею в виду отказ от нравственной иерархии, совершенный не в пользу иной иерархии, но в пользу *Ничто*». Упомянув Джорджа Оруэлла, Иосиф Бродский напомнил об интерпретации понятия *двоемыслие* в культовом антиутопическом романе «1984» британского писателя. В этом произведении известные нравственные понятия обретают противоположный, аморальный смысл.

Мне вспоминаются рассуждения критиков о терпимом отношении Венедикта Ерофеева к советской идеологии и ее представителям. Это отношение сравнимо с восприятием миража, который являет собой временную игру воздуха со светом и вскоре сам по себе рассеивается. *Ничто* оно и есть ничто. Фантом, иллюзия, фата-моргана. Здесь, впрочем, необходимо сделать одно уточнение. В рассуждениях о двоемыслии Иосиф Бродский как поэт огромного творческого масштаба перемещает себя в Космос, где истечение одного часа равно тысячелетиям на Земле. А семьдесят четыре года (если вести отчет времени с 1917 до 1991 года) при таких пропорциях шкал времен вообще *ничто*. Но людям от этого объективного факта, прямо скажем, не становится легче.

В своем отношении к существованию зла в мире и формам борьбы с ним Венедикт Ерофеев напоминал хитроумного идальго Дон

Кихота Ламанчского, понявшего, что стотысячная армия злодеев, созданная нечистой силой, представляет собой не людей из крови и плоти, а является всего лишь дьявольским наваждением и без особого труда может быть уничтожена мечом всего лишь одного благородного рыцаря.

Для многих писателей и читателей, сверстников Венедикта Ерофеева, он возник как будто бы из ниоткуда. Взлетел, как ракета, из народной гущи, и нате вам — оказался на Олимпе. Между тем назвать его талантливым малообразованным самородком из народа было бы не то что опрометчиво, а абсолютно неверно. Ведь он сочинял с оглядкой на шедевры писателей-классиков и на труды великих философов. Их произведения хорошо знал и многое из прочитанного мог бы изложить с абсолютной точностью, ибо обладал цепкой и тренированной памятью. О его обширной эрудиции свидетельствуют как его «Записные книжки», так и художественные произведения.

В своем сочинительстве Венедикт Ерофеев не пускался на всякого рода ухищрения. Сюжеты его немногочисленных произведений незамысловаты, основное действие не выходит за рамки неприкаянной и тягостной человеческой жизни. Читателя захватывает прежде всего острота переживаний героев, а не вызывающие их события, большей частью достаточно заурядные.

Проза Венедикта Ерофеева непонятно о чем конкретно — она не о сумасшедших и спившихся людях, не о тайнах любви и тем более не о чувственных наслаждениях. Сотворить что-то остренькое, пикантное, сосредоточиться на сексе было не в духе писателя. Эротика с ее голой чувственностью его не интересовала. И уж совсем он был чужд литературной поденщины.

Невозможно разобраться, какие былые страсти и переживания автора стоят за поступками персонажей поэмы «Москва — Петушки» и пьесы «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора». Вероятно, этому мешает чрезвычайная экспрессивность повествования, создающая разноголосицу смыслов. Сумеречное существование, в котором проводят жизнь герои Венедикта Ерофеева, иногда озаряется вспышками таких чувств и эмоций, что, кажется, продлись они чуть дольше — и запылает весь мир.

Стало общим местом в литературе о Венедикте Ерофееве представлять его идущим по жизни в обнимку с бутылкой. Мало кто до сих пор понимает, что поэма «Москва — Петушки» вовсе не о съехавшем

с катушек алкоголике, жертве советской системы, не о коварстве бездушной власти, не о нашем беспокойном времени, а о русском человеке, каким он предстает в своих благородных и непотребных проявлениях в сказках, былинах, быватьщинах и анекдотах. О его незлобивости по отношению к жизни. О его вольнолюбии, простодушии, доброте и в то же время дикости, своеволии и взрывном характере.

Речь идет о национальном культурно-психологическом типе, черты которого формировались на протяжении многих веков. И одновременно это человек, живущий в обществе, где господствует советская мифология черно-белого мира и присутствует вечная угроза войны.

В поэме «Москва — Петушки» писателю удалось воссоздать как национальные, так и сугубо советские особенности бытия настолько достоверно и впечатляюще, что многие цитаты из нее вскоре стали афоризмами. Такая посмертная судьба писателя дала повод Александру Генису сказать: «С каждым годом все труднее поверить, что образ Венички скрывал настоящего, а не вымышленного, на манер Козьмы Пруткова, автора. Кажется, что Веничка соткался из пропитанного парами алкоголя советского воздуха, материализовался из мистической атмосферы, в которой вольно дышит его проза».

Выскажу одно предположение (хотя ни в коем случае не собираюсь проповедовать алкоголизм): беспробудное пьянство подводит человека, еще сохраняющего рассудок, к пониманию того, что составляет стержень человеческой личности, когда ее распад неминуем.

Герой Венедикта Ерофеева не признает приоритет государства над самим собой и предпочитает жить вне социальной иерархии. Ему чужда сакрализация государственной власти и не присущи покорность раба и легковерие идиота. Он выпрыгнул из всего телесного, тленного и устремился туда, где у времени и пространства совершенно иные параметры и координаты. Кстати, разумом он абсолютно не понимает этот вожденный рай, к тому же неизвестно где находящийся, но сердцем и душой его хорошо чувствует и представляет. Словом, ситуация возникает чисто российская: иду туда — не знаю куда, найду то — не знаю что. И как всегда, чтобы не сойти с ума от такой неопределенности, выручает внутренний голос: «Ложись спать, утро вечера мудренее».

Поэму «Москва — Петушки» я отношу к произведениям мировой классики, в которых приоритетной ценностью объявляется не величие

государства, а человек с его чаяниями и потребностями. Какие эти чаяния и потребности у героя поэмы — в данном случае не столь уж важно. Главное, что он вырвался из мертвящих догм и подтвердил свое право на свободу выбора. Пусть даже во зло себе самому и своим близким.

Что-то запредельное, не от мира сего присутствует в литературных персонажах Венедикта Ерофеева и в нем самом: сочетание русского бытового раздолбайства с молитвенно-созерцательной отрешенностью от всего временного и преходящего. Недаром трагическая смерть героев его произведений и самого Ерофеева обретают смысл религиозной притчи о новомучениках XX века.

Цель у автора поэмы «Москва — Петушки» и его персонажа Венички была возвышенная и благородная. Она не связывалась с желанием окончательно спойть жителей родной страны. Вот что своим читателям советовал писатель: «Больше пейте и закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма».

Предлагаемые автором поэмы коктейли, как определил их один из ее комментаторов, «крепко замешаны на неприкаянной жизни, безысходности и советских одеколوناх». Их названия, вроде *Смерти комсомолки*, *Сучьего потроха*, и *Поцелуя тети Клавы*, очень специфичны и малопонятны для иностранцев. Во всех словарях русского языка эта сотворенная наспех *амброзия* обозначена широким и расплывчатым по смыслу понятием — бухало или бухло. Оно, это бухало-бухло, появилось на божий свет на радость загульным алкашам как плод их изошренного ума, едва функционирующего при почти пустых карманах.

Как заметил один из читателей поэмы «Москва — Петушки», в этом шедевре Венедикта Ерофеева «отсутствует пещерный, эдакий патологический антикоммунизм/антисоветизм. Отношение к власти у Венички стремно-снисходительное, власть для него вещь в себе, он даже Кремль в Москве найти не может». Я думаю, что в данном случае этот внимательно прочитавший поэму читатель, восхитившийся ею и эмоционально очарованный, не оценил в должной мере интеллектуальные возможности Венедикта Васильевича. Советская власть не была для него вещью в себе. Он понял, что она из себя представляет даже не из книг, а благодаря собственному опыту. По ее бесчело-

вечному отношению к его семье и к нему самому, а также к судьбам миллионов других людей.

Существует смелое предположение, что поэма «Москва — Петушки» не про алкоголь вовсе и тем более не имеет никакого отношения к поставангарду. Она про ангела, но не павшего, а только слегка оступившегося и сломавшего крыло. Вот и вынужден он скитаться среди людей, а его бывшие собратья, печалась, что не в силах ему помочь, все-таки не покидают его. А алкоголь для этого ангела — средство забвения, создающее иллюзию его временного возвращения в заоблачные выси, которые больше ему не принадлежат.

При всем пренебрежении Венедиктом Ерофеевым материальным благополучием аскетизм в его крайностях был ему чужд. Хотя я могу предположить, что его неприхотливость в еде, может быть, объясняется инстинктивным тяготением к аскезе. Совсем простое объяснение для него не подходит, как-то не вяжется с его аристократическим обликом. Ведь для того, кто много и постоянно пьет, для закуски и двух килек вполне достаточно.

Та жизнь, которую вел Венедикт Ерофеев, не требовала особых затрат. Более того, он обходился самым малым и часто из-за постоянного безденежья голодал. Существует много свидетельств, что в критические моменты своих бездомных скитаний он никогда ни к кому не навязывался. Чувство врожденной интеллигентности не позволяло ему в общении с окружающими людьми вести себя напо-ристо, бесцеремонно и нагло. Он никогда не опускался до навязчивого попрошайничества. Клянчить взаймы деньги, набиваться на обед было не в его правилах. Подношения Венедикт Васильевич принимал с удовольствием, но не милостыню. От фимиама, который воскурляли ему экзальтированные поклонницы, у него першило в горле и слезились глаза. Он пытался в этих случаях отшутиться. А что ему еще оставалось делать, когда девушки буквально немели и впадали в транс, глядя на него?

Вот что о первой встрече с автором поэмы «Москва-Петушки» поведала мне Кира Сапгир, ныне живущая во Франции. Этой бескомпромиссной, не склонной к сантиментам молодой женщине, увидевшей впервые Венедикта Ерофеева, показалось, что перед ней предстал находящийся слегка под хмельком, высоченный, благородного вида король из романтического романа. Она едва сдержалась, чтобы не броситься на колени с простертыми руками. Чего другого, а вот эту

экзальтацию Венедикт Ерофеев вряд ли бы вынес, даже обладая присущей ему аристократической невозмутимостью. Кира Сапгир помнит, как она все-таки сделала ему глубокий книксен, придерживав модную по тем временам кисейную юбчонку. Еще ей запомнился удивленный взгляд его синих глаз, направленный не на ее лицо, а на руки. Ее ногти были ярко красными, как крупные ягоды клюквы. В компаниях, в которых Венедикт Ерофеев оказывался в 70–80-е годы, за редким исключением преобладали чужие, что-то пописывающие люди. Они ему не нравились ни по уму, ни по виду, ни по путаным речам. Однако наблюдать этих наглых говорунов и всматриваться в их лица было ему не в тягость. Чаще всего — любопытно. При всем их агрессивном поведении из пронирыливых и воспаленных глаз с опухшими веками выглядывало что-то жалкое и растерянное. Они явно нуждались в чем-то дружеском попечительстве и напряженно выискивали влиятельного и приветливого человека. Особенно того, кто содействовал бы их поступлению в Союз писателей СССР.

Мысль, что они будут призваны в круг избранных, волновала этих людей до сердцебиения. Выпивка стимулировала развязный тон их речей, однако в таких компаниях Венедикт Ерофеев чувствовал себя неуверенно, словно попал по ошибке в гости к неандертальцам. Он не знал, как с ними себя вести, о чем говорить, и был им тоже малопопнятн. Находясь среди незнакомых людей, он, не веря глазам своим, наблюдал, как смотрящие на него тупые лица преображались в изумленные. Возникающее внутреннее напряжение в таких случаях всегда снижала смешливость — врожденное свойство его натуры. Театровед Ирина Нагишкина вспоминает слова Венедикта Ерофеева: «...Жить опасно, страшно, больно и очень смешно...»

«Москва — Петушки» — абсолютно русский роман. До Венедикта Ерофеева еще никто не описал с такой художественной убедительностью жизнь и ощущения пропащего человека, нашего современника. Такое не придумашь, через это надо пройти самому.

Богата талантами русская земля. И почему-то к ним немилосердна. Порой даже безжалостна. И все равно ими не оскудевает на удивление окружающим народам. Непонятно как и в связи с чем, но талантливые люди появляются в России снова и снова.

Говоря о Венедикте Ерофееве нельзя не обратить внимание на его внутреннюю музыкальность, о чем вспоминают многие его друзья. Казалось, он родился с оркестром в голове.

Иосиф Бродский считал музыку лучшим учителем композиции. Говоря о ней, он подчеркивал, что она научает писателя композиционными приемам, но, «разумеется не впрямую, ее нельзя копировать». По мысли поэта, «в музыке так важно, что за чем следует и как всё это меняется».

Насколько была важна для Венедикта Ерофеева музыка, говорит запись в одной из его тетрадей, датированная 1972 годом: «Музыка — средство от немоты. Может быть, вся наша немота от неумелости писать музыку». По свидетельству вдовы писателя Галины Ерофеевой, он «музыку не просто любил, а обнимал, поглощал».

Подчеркну особо: музыка возвращала ему ушедшее время молодости, когда он был полон сил и надежд.

Наталья Шмелькова, близкий друг писателя, автор двух книг о нем, вспоминает: «Одним из любимых композиторов был Сибелиус. Особенно часто он слушал его музыку в последнее время, говоря, что неотвязно-постоянно снится ему Кольский полуостров. Помню, как за день до второй операции он непрерывно заводил Четвертую симфонию композитора. Сказал: “Послушаю мою Родину...”»

Чувство Родины для Венедикта Ерофеева было бы ущербным, как у многих жителей мегаполисов, не возникни оно, словно дуб из жёлудя, из любви к тому месту, где он появился на свет, провел детство и юность — к Кольскому полуострову, почти полностью расположенному за Полярным кругом. Он всю жизнь при всех своих мытарствах и перемещениях по России сохранял память о родном гнезде, хотя бы и разоренном. Сколько раз Венедикт Васильевич возвращался туда, откуда началось его узнавание мира, где возник страх от ощущения недолговечности жизни и неисчезающая печаль от того, что всё в ней преходяще. Как бы то ни было, он не разочаровывался своим очередным пребыванием в родных пенатах. Ведь им двигало не только желание встретиться со знакомыми людьми и потребность снова оказаться лицом к лицу с природой этого края. Эти приезды давали ему намного больше. Они укрепляли в нем верность своему детству. К нему возвращалось блаженное состояние духовной и телесной чистоты. Он словно выныривал, задыхаясь, из болотной жижи и видел над собой северное рассветное небо, а по сторонам каменистые сопки с низкорослыми березами в низинах и везде вокруг многообразье цветущих полевых трав.

Проза Венедикта Ерофеева с ее глубинным содержанием, с ее особой композицией, выстроенной на попеременной смене нарастающих и ниспадающих ритмов, с ее водоворотом причудливых образов, с ее контрапунктами, настойчивыми лейтмотивами и неожиданными стилистическими эффектами безусловно соответствует музыкальным канонам. Перенеся психологически точное наблюдение Георгия Адамовича с судьбы поэта-эмигранта Бориса Поплавского на Венедикта Ерофеева, можно сказать, что им созданное «остается свидетельством веры в одно только музыкальное начало творчества или как завещание человека, для которого музыка была соломинкой утопающего».

Венедикт Васильевич в беседе с малосимпатичными людьми любил поёрничать и огоршить собеседника мнимой откровенностью. Это желание присочинить что-нибудь такое, отчего у вопрошающего отвиснет челюсть, было у него в порядке вещей. По-видимому, этой особенностью общения с интервьюерами объясняются всякие небылицы, которые он наговорил им о себе и своих родителях в надежде, что эти настырные и охочие до сенсаций люди наконец-то утомятся и от него отстанут.

Венедикт Ерофеев понимал, что после его смерти они наплетут о нем еще больше гадостей и присочинят уже от себя немало новых глупостей.

Он опередил злопыхателей, еще при жизни выплеснув на самого себя ведро помоев. Вот такой он предпринял неожиданный и оригинальный ход, обескуражив близких ему людей и переиграв своих врагов. До него еще никто из писателей, как мне известно, от клеветников и хулителей подобным образом не отбивался.

Одновременно ему было присуще устойчивое представление о сущности бытия, о его трагичности. Оно было постоянным, устойчивым, не менялось на протяжении всей его жизни. Он жил независимо и приспособливаться к чему-то сиюминутному не хотел. К тому же на него влияло что угодно, но только не отвлеченная мудрость доморощенных философов. Все эти далекие от реальности рассуждения дилетантов его невероятно раздражали. Слишком мало было отпущено ему времени на жизнь в творчестве, чтобы наслаждаться переливанием из пустого в порожнее.

Не будет преувеличением сказать, что в литературной среде Венедикт Ерофеев существовал практически в одиночестве. Несколько

человек из писателей, его оценивших и принявших как равного до выхода поэмы «Москва — Петушки», в счет не идут. До настоящего времени им написанное нередко рассматривают как явление любопытное, но изначально маргинальное, находящееся на обочине художественной литературы и эссеистики. Спустя годы поубавили свой восторг даже те люди, кто близко его знал и отдавал дань его писательскому таланту.

Напомню читателю, что у социологов *маргинал* означает человека, находящегося вне социальной группы, — изгоя, аутсайдера, бомжа. Термин происходит от латинского *margo, marginis* — край, граница. На французском языке от этого латинского слова произошло *marge*, а на английском *margin*. Они обозначают поле книжной или рукописной страницы.

Как справедливо замечает писатель В. И. Новиков, «люди центра часто не оставляют в жизни никакого следа, а со страничного поля можно перейти в вечность».

Формула «один в поле не воин» воспринималась Венедиктом Ерофеевым наглым и безапелляционным заявлением не потому, что ему претил коллективизм во всех его формах и проявлениях, а совсем по другой причине — призывом навалиться гуртом, скопом на кого-то или на что-то. Уже в этом словосочетании заключались для него оправдание насилия сильных над слабыми и возведение паскудства в обычную норму поведения.

Такие насильственные действия для него были неприемлемы. Думаю, что он был солидарен с основными философскими установками Сиддхартхи Гаутамы Будды. Особенно по ощущению нескончаемого и мучительного страдания: «Каждый день — накопление чудовищных горечей без всяких видимых причин. Каждая минута моя отравлена, неизвестно чем, каждый час мой горек». Или еще трагичнее: «Утром — стон, вечером — плач, ночью — скрежет зубовой».

Собственный путь Венедикта Ерофеева к преодолению страдания и избавлению от *сансары* противоречит буддийским установкам: не курить, не пить, не принимать наркотики, не сквернословить. Для героя Венедикта Ерофеева «только питье держит в равновесие тело и душу». И даже облегчает телесные муки, связанные с тяготением *сансары*: «Выпьешь — и это тебя сократит». Венедикт Ерофеев не претендует на роль гуру: «Ухожу, ухожу я из мира скорби и печали, которого не знаю, в мир вечного блаженства, в котором не буду».

Как и Сиддхартха Гаутама Будда, Венедикт Ерофеев объявил о разрыве с прежним духовным миром, в котором ложь опиралась на несоотносимую с ходом жизни идеологию. В этом мире не находилось места инакомыслию. В нем отсутствовало право выбора, а свобода воли исключалась объявлением государства доминирующей ценностью среди всех прочих. Понятия морали и нравственности переосмыслились в угоду сиюминутным интересам правящей верхушки. Только уже по одной этой причине представляющее такой мир государство является преступным по отношению к своим гражданам.

Совсем уж буддийская максима присутствует в рассуждениях Венедикта Ерофеева о вреде эго: «Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян». Его жизнь своей трагичностью и контрастами напоминает жизнь буддийского монаха, ступившего на путь освобождения от иллюзий *сансары* и ее притяжения. Да и относительная бытовая стабильность в жизни Венедикта Васильевича складывалась не так, как это обычно происходит со многими людьми. По сравнению с жизнью Варлама Шаламова, претерпевшего мытарства и муки сталинских лагерей, жизнь эта все-таки, несмотря на сопутствующие ей передряги, проходила относительно спокойно и даже большей частью в окружении симпатичных и свободомыслящих людей.

Венедикт Ерофеев не пошел по пути полной самоизоляции. Этот путь предложил Варлам Шаламов, исходивший из собственного жизненного опыта.

Как добиться в атеистическом государстве того, чтобы творческое начало в каждом человеке, данное Богом, раскрылось? Автор «Колымских рассказов», на много лет старше Ерофеева, был убежден, что «одиночество — оптимальное состояние человека», ведущее его к самоосуществлению самого себя.

Венедикту Ерофееву не было нужды, как Варламу Шаламову, полностью замыкаться в себе. Он не был разрушителем системы, а просто исключил ее из своего сознания как уже отсутствующую реальность, данную ему при рождении. С этого момента обслуживающие эту систему и ее защищающие люди не могли восприниматься им его врагами по причине их метафизического отсутствия. Они словно по мановению волшебной палочки превратились в бесплотные тени, в облачные субстанции. Я думаю, что такая картина мира объясняет многое в психологии и поступках Венедикта Ерофеева.

Перейду опять к буддийским понятиям. Когда большинство его коллег по писательству еще пребывали в *сансаре*, он уже находился в своей *нирване* — вне пространства и времени, вне всех возможных форм *сансарного* существования. Другое дело, что *сансара* во всех своих планах и аспектах вызывала у него неподдельный интерес и была объектом его многолетних и пристальных наблюдений со стороны. Особенно тот временной аспект ее бытования, из которого еще не выветрился дух большевистского насилия. Тот иллюзорный, построенный на обмане мир, отвергнутый его духовными усилиями. Он был уже недостижим в своем духовном убежище. Ведь Венедикт Ерофеев обладал живой душой — неперемное условие успешного бегства.

Это был его духовный и физический исход из языческого, по существу, мира, постоянно требующего от людей все новых и новых жертвоприношений, не обязательно человеческих, и самоотречений. Теперь пришло время понять, какие условия необходимы для собственного освобождения, и облечь свой опыт в слова. Как самому возможно размагнититься от притяжения *сансары*. До этого шага навстречу *нирване*, он должен был ужаснуться неприглядным и сатанинским видом *сансары*. Выполнить такую задачу было по силам только человеку с абсолютным литературным даром и музыкальным слухом, позволяющими почувствовать и услышать по контрасту с безобразием земного миропорядка гармонию высших сфер. Так появилась поэма «Москва — Петушки» и пьеса «Вальпургиева ночь, или Шаги командора».

Общающихся с Венедиктом Ерофеевым людей поражала его начитанность. Больше всего он любил книги по мировой истории и философии, религиозные сочинения, а из русской литературной классики — произведения Николая Васильевича Гоголя, «Былое и думы» Александра Ивановича Герцена, «Философские письма» и «Апологию сумасшедшего» Петра Яковлевича Чаадаева. Из зарубежных писателей особое внимание он уделял скандинавам, прежде всего — сочинениям норвежца Кнута Гамсуна, книги которого пользовались в СССР повышенным спросом среди думающей молодежи в конце 50-х — начале 60-х годов. Вторыми после Гамсуна шли произведения Генрика Ибсена, Бьёрнстерна Бьёрнсона. Томас Манн с его романом «Доктор Фаустус. Жизнь немецкого композитора Андриана Леверкюна, рассказанная его другом» вывел его к совершенно новым духовным горизонтам.

Читал Венедикт Ерофеев постоянно, с детских лет и почти до самой смерти. Читал много и жадно, словно знал, что не доживет до глубокой старости. У него была цепкая и объемная память. Запоминал прочитанное до мельчайших деталей, чем поражал как близких родственников, так и многих ближних своих. Он любил книгу как текст. У него не вызывали благоговейный трепет книги в переплетах из телячьей кожи. Ему больше по душе были книги попроще и даже несколько зачитанные. Чтение помогло ему стать культурным человеком, то есть приобрести чувство конкретной реальности, отличать ложь от правды и обрести способность правильно судить о многих вещах.

Легко догадаться поэтому, какое значение для него имела хорошая библиотека, укомплектованная серьезной литературой и включающая в себя дореволюционные издания. Такой библиотекой в ерофеевское время были семейные книжные собрания, а из государственных — Историческая библиотека в Москве с либеральным отношением сотрудников к выдаче книг читателям. По предписаниям соответствующих ведомств дореволюционные издания, за исключением литературы российских радикальных партий и других политических организаций, в 60-е годы прошлого века не подлежали специальному хранению. Выдача наиболее одиозных книг зависела исключительно от желания библиотекаря. Кстати, немало редких дореволюционных русскоязычных изданий, особенно переводных с европейских языков, находилось во Всесоюзной библиотеке иностранной литературы, где работал его друг — ученый и переводчик Владимир Муравьев. А Британская, Еврейская и другие энциклопедии на иностранных языках стояли на полках в ее Справочном зале в открытом доступе.

Венедикт Ерофеев в чтении заинтересовавших его книг терял ощущение времени. Он словно перемещался в космическое пространство и приобщался к вечности. Среди многих книжных хранилищ, малых и больших, одну библиотеку, вместе с местом, где она находилась, я назвал бы судьбоносной в биографии моего героя. Это было собрание тщательно подобранных книг, принадлежавшее выдающемуся математику, член-корреспонденту АН СССР Борису Николаевичу Делоне, с внуком которого, известным правозащитником Вадимом Делоне, Венедикт Ерофеев дружил и который пригласил писателя летом 1975 года на дачу деда в Абрамцево. Осенью того же года Вадим Делоне эмигрировал из СССР. Борис Николаевич Делоне предложил Венедикту Ерофееву, уже известному в определенных кругах автору поэмы «Москва — Петушки», пожить с женой в летнее время на этой даче. Ему очень понравились

хозяин, дом и библиотека, которая привела его, знавшего толк в книгах, в состояние эйфории. Там, в частности, он познакомился с творчеством мыслителя, оказавшего на его мировоззрение огромное влияние, — Петром Яковлевичем Чаадаевым. Не забудем также, что Александр Иванович Герцен оставался для Венедикта Ерофеева светочем мысли.

Каждое лето Венедикт Ерофеев и его жена Галина приезжали в Абрамцево и почти безвыездно находились здесь. Так продолжалось довольно долго. После смерти Бориса Николаевича Делоне в 1980 году они не оставили Абрамцево, но жили уже на других дачах.

При всей его любви к розыгрышам и мистификациям, Венедикт Ерофеев был закрытым и осторожным человеком. Обладая живым умом и острой наблюдательностью, он из прочитанных книг и собственного жизненного опыта вынес важное правило — полагаться исключительно на самого себя и никому не доверять, даже брату и сестрам.

На эти особенности его характера обращает внимание Елена Игнатовна: «Меньше всего Венедикт был склонен к открытости, к исповедальным разговорам о своей жизни, он насмешливо и грубо оборонялся от попыток вызвать его на откровенность, выяснить мировоззрение и прочее. Так же он по большей части избегал этических суждений и оценок, особенно в том, что касалось его окружения, но не от чрезмерного добродушия (он был человеком достаточно жестким и обидчивым), а, пожалуй, от нежелания ставить свою жизнь в зависимость от принятых норм, пусть самых почтенных. Сам Венедикт имел четкие нравственные представления, но о других судил снисходительно и иногда с удовольствием рассказывал о коленцах, которые выкидывали его приятели».

Однако притворство, вытекающее из этой психологической установки и опирающееся на совет Федора Тютчева: «Молчи, скрывайся и таи / И чувства и мечты свои...», было ему чуждо и противно. Венедикт Ерофеев избрал для себя единственно приемлемый для него образ жизни: по мере возможности помалкивать, на земные блага не рассчитывать, время проводить не в праздности, деньги зарабатывать физическим трудом, добиваться умственного и духовного совершенства с помощью чтения книг и бесед с умеющими думать людьми.

Не желая расширять и укреплять советскую мифологию, Венедикт Ерофеев предпочитал позицию человека, смотрящего со стороны. Кто знает, может быть, с детских лет пришла к нему потребность наблюдать за людьми и размышлять, не торопясь, над увиденным.

Позиция наблюдателя, прямо скажем, не означала подглядывание в замочную скважину. Венедикт Ерофеев был также чрезвычайно деликатен и щепетилен в словесном оформлении своих наблюдений. Как в устной речи, так и в письменной. Не стоит думать, обнаруживая в его прозе нецензурные слова и выражения, что он возводил вседозволенность в принцип жизни.

Вот как объясняет употребление писателем матерной лексики Юрий Владимирович Мальцев, автор книги «Вольная русская литература»: «У Ерофеева мы находим живой нынешний разговорный язык не как экзотическое диалоговое обрамление авторского повествования, а как органичный способ самовыражения — и это, несомненно, большой вклад Ерофеева в сегодняшнюю русскую литературу. Вслед за ним многие другие самиздатовские авторы увидели в языковом новаторстве или даже “языковом натурализме” самый прямой путь отражения нового колорита современной советской жизни и психологии».

Милее всех ангелов Венедикту Ерофееву были херувимы, которые, как он вычитал из еврейской энциклопедии и отметил в одной из своих многочисленных записных книжек, «из всех небесных существ являлись самыми близкими к Божеству». В той же записной книжке существует его другая запись о херувимах со ссылкой на ветхозаветного пророка Иезекииля, жившего на рубеже VII — VI веков до Р. Х.: «По Иезекиилю, все тело Херувима, и спина, и руки, и крылья, все покрыто глазами». Так и Венедикт Васильевич Ерофеев вглядывался в мир всем своим существом и не находил в этом любопытстве ничего зазорного и постыдного.

Одно для меня представляется ясным. Ерофеев был человеком на редкость последовательным в своих взглядах и поступках. Злобная недоброжелательность в нем отсутствовала. В трезвом состоянии он с плеча не рубил, проявлял известную тонкость и деликатность в общении с женщинами.

Вместе с тем, обращаясь к его личности, приходится признать, что в работе Венедикт Васильевич был нетороплив. Литературное наследие в виде законченных произведений он после себя оставил значительное по своей художественной ценности, однако по объему небольшое. В разы его превосходят сохранившиеся выписки из прочитанных им книг, а еще всякие почеркушки — то ли записи собственных мыслей, то ли подслушанные перлы. Венедикт Ерофеев распоряжался своим талантом по-хозяйски, на пустяки его не растрачивал. Может быть,

этим объясняется его лень к сочинительству. Талант свой не размазывал, как мед по блину, а ревниво сберегал, как я думаю, для того, чтобы использовать для изучения человека как вида, происходящего по замыслу Создателя от антропоморфных обезьян из группы дриопитеков. Эти особи обитали десять-двенадцать миллионов лет назад, жили на деревьях, потому-то и получили от ученых название древесных.

Также нельзя сбрасывать со счетов, говоря о скромной творческой плодовитости Венедикта Ерофеева, его пристрастие к спиртному. На его пьянство как на тормозящий фактор творческой активности обращал внимание писатель Марк Фрейдкин, долгое время входивший в ближайшее окружение писателя. Не склонный романтизировать и возводить в священное действо эту пагубную привычку, он писал: «Все красивые рассуждения о “пьянстве как служении” и тем более о “пьяном Евангелии от Ерофеева” или даже о “сверхзаконном подвиге юродства” мне по меньшей мере не близки и попросту кажутся не очень умными, чтобы не сказать сильней. Собственно говоря, в Венином клиническом случае это была не привычка и уж тем более никакое не служение, а тяжелая и практически неизлечимая болезнь, весьма, увы, распространенная как среди талантливых и неординарных людей, так и среди людей вполне заурядных, причем чаще всего низводящая первых на уровень вторых. Как бы то ни было, ее проявления в обоих вариантах очень мало различаются. Веня в этом смысле не представлял собой исключения и в пьяном виде если и не становился безобразным, как большинство из нас, то и особенно привлекательным его тоже не назовешь».

Все-таки существует какая-то тайна в не похожем ни на что явлении — Венедикт Ерофеев. Я не настолько самонадеян, чтобы дать ее разгадку. Но и не настолько безразличен к своему герою, чтобы не попытаться понять причины его появления среди классиков мировой литературы. Бесспорно одно. Как говорили в старину, житие Венедикта Васильевича было *неложно*, а чистота *нескверна*. До последнего своего часа Венедикт Ерофеев сохранял в себе острый слух ко всему, что рождается не размышлениями изворотливого ума, а стихийными движениями чуткой и одновременно избегающей вранья души.

